

Эдмунд де Вааль

*Заяц с янтарными
глазами*

EDMUND DE WALL

The Hare with Amber Eyes
A Hidden Inheritance

ЭДМУНД ДЕ ВААЛЬ

*Заяц с янтарными глазами:
скрытое наследие*

Перевод с английского
Татьяны Азаркович



издательство **АСТ**

Москва

УДК 821.111-94
ББК 84(4Вел)-44
В 12

Художественное оформление и макет АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО

В12 **Вааль Эдмунд, де**
Заяц с янтарными глазами: скрытое наследие / Эдмунд де ВААЛЬ; пер. с англ.
Т. АЗАРКОВИЧ. — Москва: АСТ: CORPUS, 2013. — 432 с.

ISBN 978-5-17-077269-8 (ООО "Издательство АСТ")

Хотите историю? Следуйте за белым зайцем с янтарными глазами. Известный английский художник-керамист берется за перо, чтобы прочертить путь своей семьи — и сопровождавшей ее в скитаниях коллекции брелоков-нэцке. Автор, перемещаясь из царской Одессы в Париж импрессионистов и Пруста, из захваченной нацистами Вены в оккупированный американцами Токио, рассказывает об утраченном и обретенном доме, о том, как хрупка жизнь и как из историй людей сплетается история человечества.

УДК 821.111-94
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-17-077269-8 (ООО "Издательство АСТ")

© Edmund de Waal, 2010
All rights reserved
© Т. Азаркович, перевод на русский язык, 2013
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2013
© ООО "Издательство АСТ", 2013
Издательство CORPUS ®

Оглавление

<i>Предисловие</i>	11
--------------------------	----

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Париж (1871–1899)

<i>Le West End</i>	35
<i>Un lit de parade</i>	49
“Мой вожатый и поводырь”	56
“Такие легкие, такие нежные на ощупь”	63
Коробка с детскими сладостями	77
Лисица с инкрустированными глазами, деревянная	85
Желтое кресло	91
Спаржа месье Эльстира	97
Даже Эфрусси на это клюнул	110
“Мой маленький барыш”	120
“Поистине блестящий фэйф-о-клок”	128

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Вена (1899–1938)

<i>Die Potemkinische Stadt</i>	145
“Ционштрассе”	157
История как она есть	164
“Большая квадратная коробка, какие рисуют дети”	179
“Свободная территория”	188

Милое юное создание	198
Давным-давно	211
Типажи старого города	216
<i>Heil Wien! Heil Berlin!</i>	227
Буквально равен нулю	253
“Сумей себя пересоздать и ты”	264
Эльдорадо 5-0050	277

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Вена, Кевечеш, Танбридж-Уэллс, Вена (1938–1947)

“Идеальное место для шествий масс”	295
“Неповторимая возможность”	307
“Тоден для одной поездки”	320
Слезы — в природе вещей	331
Карман Анны	341
“Совершенно открыто, публично и законно”	350

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Токио (1947–2001)

Такеноко	359
“Кодахром”	369
Откуда они у вас?	382
Настоящая Япония	390
На стадии шлифовки	400

КОДА. Токио, Одесса, Лондон (2001–2009)

Дзиро	405
Астролябия, мензула, глобус	408
Желтое / золотое / красное	419
<i>Благодарности</i>	427
<i>Генеалогическое древо Эфрусси</i>	430

Посвящается Бену, Мэтью, Анне и моему отцу

Когда мы уже чем-нибудь не дорожим, нам все-таки не вполне безразлично, что раньше оно было нам дорого, а другим этого не понять... Ну и вот, теперь я так устал, что мне трудновато жить с людьми, и мои бывшие чувства, мои, и больше ничьи, — это свойство всех, помешанных на коллекционерстве, — стали для меня драгоценностями. Я открываю самому себе мое сердце, точно витрину, и рассматриваю одну за другой мои влюбленности, которые никто, кроме меня, не узнает. И вот об этой-то коллекции, которая мне теперь дороже всех остальных, я говорю себе, почти как Мазарини о своих книгах, хотя и без малейшей боли в сердце, что расставаться с ней мне будет невесело.

Шарль Сван

МАРСЕЛЬ ПРУСТ,
“Содом и Гоморра”*

* Пер. Н. Любимова. Здесь и далее — примечания переводчика.

Предисловие

В 1991 году я получил двухгодичную стипендию от одного японского фонда. Идея заключалась в том, чтобы обучить в английском университете семерых молодых англичан с различными профессиональными интересами основам японского языка и отправить их на год в Токио. Свободное владение нами языком должно было положить начало новой эпохе контактов с Японией. Мы стали первыми стажерами, которые должны были обучаться по этой программе, и на нас возлагали большие надежды.

В течение второго года мы занимались по утрам в языковой школе в Сибуе, на холме выше беспорядочного скопления закусочных и дешевых магазинов электротоваров. Токио оправлялся от краха “экономики мыльного пузыря” 80-х годов. Люди на пешеходных переходах, самых оживленных в мире, всматривались в экраны, которые показывали, как ползет все выше и выше биржевой индекс Никкей. Чтобы не оказаться в метро в час пик, я выходил из дома на час раньше и встречался с другим студентом (он был археологом, постарше меня), и мы по дороге в школу выпивали кофе и съедали по коричной булочке. У меня было домашнее задание, самое настоящее, — впервые со времени

окончания школы: каждую неделю я должен был заучивать сто пятьдесят иероглифов-кандзи, прочитывать и разбирать колонку из таблоида и ежедневно повторять десятки разговорных оборотов и фраз. Я очень боялся. Другие студенты, помоложе, перешучивались по-японски с преподавателями о телепередачах или политических скандалах. У школы были зеленые металлические ворота, и я помню, как однажды утром пнул их — и задумался, каково это: пинать школьные ворота, когда тебе уже двадцать восемь.

Вторая половина дня принадлежала мне. Два раза в неделю я ходил в керамическую мастерскую. Моими соседями оказывались самые разные люди — от отставных бизнесменов, лепивших чайные чашки, до студентов, делавших авангардистские заявления из грубой красной глины и проволоочной сетки. Заплатив взнос, ты хватал скамью или гончарный круг, и тебе предоставляли полную свободу действий. Там было не слишком шумно, хотя вокруг и стоял жизнерадостный гул. Я впервые начал работать с фарфором, осторожно надавливая на стенки своих кувшинов и чайников, только что снятых с круга.

Я лепил посуду с детства — и изводил отца просьбами устроить меня в вечернюю школу. Моим первым изделием стала вылепленная на круге чашка, которую я покрыл переливчато-белой глазурью, добавив капельку кобальта. Будучи школьником, я проводил почти все вечера в гончарной мастерской и покинул школу рано, в семнадцать лет, чтобы стать подмастерьем у одного сурового человека, горячего поклонника английского гончара Бернарда Лича. Это он привил мне уважение к материалу, терпение и целеустремленность: у него я лепил на круге сотни суповых мисок и горшков для меда из серой каменной керамики и подметал пол. Я помогал делать глазурь, которая очень напоминала восточную. Мой учитель никогда не бывал в Японии,

но целые полки были заставлены книгами о японской керамике. За кружкой позднего утреннего кофе с молоком мы обсуждали достоинства тех или иных чайных чашек. Остерегайся неоправданных жестов, говорил он: меньше — значит больше. Работали мы в тишине или под классическую музыку.

В середине моего ученичества, еще не достигнув двадцати лет, я провел долгое лето в Японии, посещая не менее суровых гончаров в разных концах страны: Масико, Бидзэн, Тамба. Каждый шорох бумажной ширмы, каждый звук воды, журчавшей по камням в саду у чайного домика, становились для меня откровением, — а каждое переливающееся неоновым заведение “Данкин донатс” заставляло меня вздрогнуть и поморщиться. Документальным свидетельством глубины моего тогдашнего благоговения является журнальная статья, которую я написал после возвращения: “Япония и гончарная этика: о воспитании уважения к своему материалу и к знакам эпохи”.

По окончании своего ученичества я изучал английскую литературу в университете, а затем семь лет работал в одиночестве сначала в тихих, строгих мастерских на границе Уэльса, после — в мрачном городском районе. Я был очень сосредоточен, и мои изделия говорили о том же. И вот теперь я снова оказался в Японии — в захлавленной мастерской, бок о бок с человеком, который болтал о бейсболе, — и делал фарфоровый кувшин с вдавленными, будто подвижными стенками. Мне было очень хорошо: похоже, я находился на верном пути.

Дважды в неделю после обеда я отправлялся в архив Музея народных ремесел и работал над книгой о Личе. В этом музее, который представляет собой перестроенный крестьянский дом в пригороде, хранится коллекция предметов народных ремесел Кореи и Японии, собранная

Соецу Янаги — философом, искусствоведам и поэтом. Янаги предложил теорию, объясняющую, почему некоторые предметы — посуда, корзины, ткани, изготовленные неизвестными ремесленниками, — так красивы: они выражают бессознательную красоту, потому что их делали в таких количествах, что ремесленник освобождался от груза собственного “я”. В молодости — в начале XX века в Токио — они с Личем были неразлучными друзьями, вели оживленную переписку о книгах: о Блейке, Уитмене, Рескине. Они даже основали колонию художников в деревушке, расположенной на удобном расстоянии от Токио. Там Лич лепил посуду с помощью местных мальчишек, а Янаги рассуждал о Родене и красоте со своими богемными друзьями.

В соседнем с музейными залами помещении каменные полы сменял офисный линолеум. Дальше по коридору находился архив Янаги: маленькая комнатка три с половиной на два с половиной метра, с полками от пола до потолка, с его книгами и картонными коробками с блокнотами и письмами. Кроме того, там был еще письменный стол и единственная лампочка. Я люблю архивы. Этот архив — очень, очень тихий и чрезвычайно мрачный. Здесь я читал и делал выписки, собираясь писать ревизионистскую работу о Личе. Это должна была быть тайная книга о “японизме”: о том, как Запад более ста лет превратно толковал Японию — страстно и созидательно. Мне хотелось понять, что именно в Японии пробуждало пыл у художников и вызывало не меньшее раздражение у ученых, которые указывали на их бесчисленные промахи. Я надеялся, что, написав такую книгу, смогу перебороть собственное глубокое, слепое увлечение этой страной.

И раз в неделю я проводил вторую половину дня с моим двоюродным дедушкой Игги.

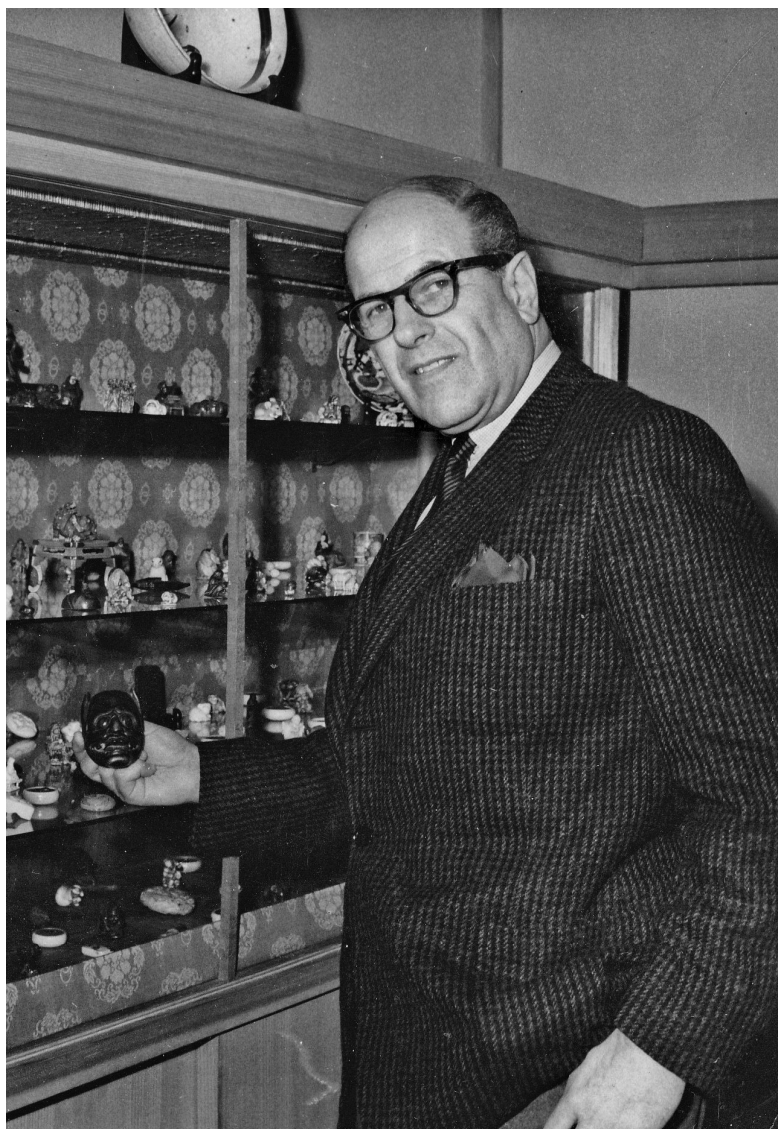
Я поднимался в гору от станции метро, мимо блестящих автоматов, продававших пиво, мимо храма Сэнгакудзи, где похоронены сорок семь самураев, мимо нелепого молитвенного дома синтоистов, мимо суси-бара, принадлежавшего некоему мистеру Икс, затем сворачивал вправо возле высокой стены, окружавшей парк с соснами принца Такамацу. Я входил в дом и поднимался на лифте на седьмой этаж. Обычно Игги читал, сидя в кресле возле окна. Чаще всего — Элмора Леонарда или Джона Ле Карре. Или чьи-нибудь мемуары на французском. Странно, говорил он, кажется, будто одни языки теплее других. Я наклонялся, и он целовал меня.

У него на письменном столе лежало пресс-папье, стопка почтовой бумаги с его именем и ручки, хотя он больше не писал. Из окна за его спиной были видны строительные краны. Токийский залив постепенно закрывали сорокаэтажные кондоминиумы.

Мы вместе обедали. Обед готовила его экономка госпожа Накано или оставлял его друг Дзиро, живший в смежной квартире. Омлет с салатом, поджаренный хлеб из превосходной французской пекарни в одном из универсамов в районе Гинза. Бокал холодного белого вина — сансера или пуйи-фюме. Персик. Немного сыра, а потом — очень хороший кофе. Черный кофе.

Игги было восемьдесят четыре. Он слегка сутулился. Игги всегда безупречно одевался, и ему очень шли пиджаки “в елочку” с носовым платком в нагрудном кармашке, светлые рубашки с галстуком. У него были седые усики.

После обеда он открывал раздвижные двери длинной витрины, занимавшей большую часть стены в гостиной, и вынимал оттуда нэцке, одно за другим. Зайца с янтарными глазами. Мальчика с самурайским мечом и шлемом. Тигра, будто состоявшего из одних только



Игги с коллекцией нэцке в Токио (1960)

плеч и ног, развернувшегося с оскаленной пастью. Игги передавал мне одно из нэцке, и мы вместе рассматривали его, а потом я бережно ставил его обратно в шкаф, где на стеклянных полках стояли десятки других фигурок людей и животных.

Я наполнял водой маленькие плошки, всегда стоявшие в шкафу, чтобы слоновая кость не трескалась.

Я не рассказывал тебе, говорил Игги, как мы любили их в детстве? Что их подарил моим родителям парижский двоюродный брат отца? Я не рассказывал тебе историю про карман Анны?

Разговор порой принимал странный оборот. То Игги описывал, как в день рождения отца их венский повар готовил на завтрак *кайзершмаррн* — слоеную запеканку из блинов с сахарной пудрой и повидлом; как блюдо торжественно вносил в столовую и разрезал длинным ножом дворецкий Йозеф; как папа всякий раз говорил, что даже император не мог и мечтать о лучшем начале дня рождения... То заговаривал о втором замужестве Лилли. Кто такая эта Лилли?

Слава богу, думал я, хоть мне ничего не известно о Лилли, я хотя бы кое-что знаю о том, где разворачивались некоторые из этих историй: Бад-Ишль, Кевечеш*, Вена. И когда в сумерках на строительных кранах зажигали фонари, уходящие все дальше и дальше к заливу, я думал, что становлюсь кем-то вроде личного секретаря и что мне, пожалуй, следовало бы записывать то, что Игги рассказывает о жизни Вены перед Первой мировой, следовало бы сидеть рядом с блокнотом. Я так и не решился. Мне виделось в этом что-то официальное и неуместное. Еще мне виделась в этом жадность: ага, какая забавная история,

* Сейчас — территория словацкого города Римавска-Собота.

заберу-ка я ее себе! К тому же мне нравилось, как от повторения все будто выглаживается, — в рассказах Игги многое походило на речные камушки.

За год я наслушался и о том, как их отец гордился смышленостью Элизабет, старшей сестры Игги, и что матери не нравилась ее вычурная речь: “Выражайся ясно!” Он часто упоминал (с некоторым волнением) об игре с сестрой Гизелой: одному из них нужно было взять какой-либо мелкий предмет из гостиной, пронести его по лестнице и через двор, незаметно от слуг спуститься по ступеням в погреб и спрятать его в сводчатом подвале. А другой, в свой черед, должен был вернуть этот предмет на место. И о том, как однажды он потерял что-то в темноте. Тут, похоже, воспоминание тускнело и обрывалось.

Множество историй было связано с Кевечешем — семейным поместьем в будущей Чехословакии. Как Эмми, мать Игги, разбудила его однажды до зари, чтобы он впервые сам отправился с ружьем и с егерем на охоту — пострелять зайцев на стерне, и как он не в силах был нажать на курок, когда увидел заячьи уши, слегка дрожавшие на утреннем холодке. Как однажды Игги с Гизелой наткнулись на цыган с медведем на цепи, вставших табором на краю их имения у реки, и как они в страхе бежали опрометью назад до самого дома. Как у платформы останавливался “Восточный экспресс” и как начальник станции помогал их бабушке выйти из вагона, а они мчались ей навстречу и брали у нее из рук зеленый бумажный сверток с пирожными, которые она купила в Вене, в кондитерской “Демель”. И как однажды за завтраком Эмми подвела его к окну, чтобы показать осеннее дерево за окном столовой: оно было все в щеглах. И как потом он постучал в оконное стекло, и все щеглы улетели, а дерево осталось золотым.

Пока Игги немного дремал после обеда, я мыл посуду, а после брался за домашнее задание, списывая корявыми иероглифами один лист клетчатой бумаги за другим. Я оставался до возвращения Дзиро. Приходя с работы, он приносил японские и английские газеты и круасаны для завтрака. Дзиро ставил Шуберта или джаз, мы выпивали по рюмке, и я оставлял их в покое.

Я снимал очень симпатичную комнату в Медзиро, окна которой выходили в маленький сад, заросший азалиями. У меня была электроплитка и чайник, я исхитрялся как мог, и все же вечера я проводил в компании лапши и чувствовал себя одиноким. Дважды в месяц Дзиро и Игги приглашали меня поужинать или на концерт. В “Имперiale” они угощали меня напитками, а затем превосходными суси или бифштексом тартар либо, отдавая дань нашим предкам-банкирам, — *boeuf à la financière**. От фуа-гра, на которую налегал Игги, я отказывался.

В то лето в британском посольстве устроили прием для учащихся. Мне предстояло произнести на японском речь о том, чему я научился там за год, и о том, что культура стала мостом между нашими двумя островными государствами. Я репетировал до полного изнеможения. На прием пришли Игги и Дзиро, и я видел, как они подбадривают меня, поднимая бокалы с шампанским. Потом Дзиро потрепал меня по плечу, а Игги поцеловал. Заговорщически улыбаясь, они заявили, что мой японский *ёдзу нэ* — блестящий, превосходный, непревзойденный.

Они хорошо устроились, эти двое. В квартире Дзиро была традиционная японская комната с циновками-татами и маленьким алтарем, на котором стояли две фотографии — его собственной матери и Эмми, матери Игги.

* Говядина в грибном соусе (фр.).

Там читались молитвы и звенел колокольчик. А по соседству, в квартире Игги, на его письменном столе, стояла фотография, изображавшая их самих — в лодке на Внутреннем Японском море. Позади поросшая соснами гора, вода сверкает на солнце. Снимок сделан в январе 1960 года. Дзиро очень хорошо выглядит: волосы зачесаны назад, его рука лежит на плече Игги. А на другом фото, снятом уже в 80-х, они на круизном судне где-то неподалеку от Гавайских островов, в вечерних костюмах, держатся за руки.

Пережить всех — вот что трудно, произносит Игги чуть слышно.

Состариться в Японии — это чудесно, говорит он уже громче. Я прожил здесь больше половины жизни.

Тебе не хватает чего-то, что осталось в Вене? (Почему бы не спросить его прямо: чего именно не хватает, когда пришла старость, а ты не живешь в той стране, где родился?)

Нет. Я не приезжал туда до самого 1973 года. Там было душно. Удушливо. Все знали тебя по имени. Ты приходил купить роман на Кертнерштрассе, а тебя спрашивали, прошла ли простуда у твоей матери. Шагу нельзя было ступить. И вся эта позолота, весь этот мрамор в доме. Там было так темно. Ты видел когда-нибудь наш бывший дом на Рингштрассе?

А ты знаешь, неожиданно перебивает он сам себя, что японские кнедлики со сливами лучше венских?

Вообще-то, продолжает он, немного помолчав, папа обещал взять меня в свой клуб, когда я подрасту. Он там встречался с друзьями, своими друзьями-евреями, где-то неподалеку от Оперы. По четвергам он всегда возвращался такой веселый. Винер-клуб. Мне всегда хотелось сходить туда вместе с ним, но он никогда не брал меня. Я уехал в Париж, потом в Нью-Йорк, да, а потом началась война.

Вот этого мне не хватает. Вот это прошло мимо меня.